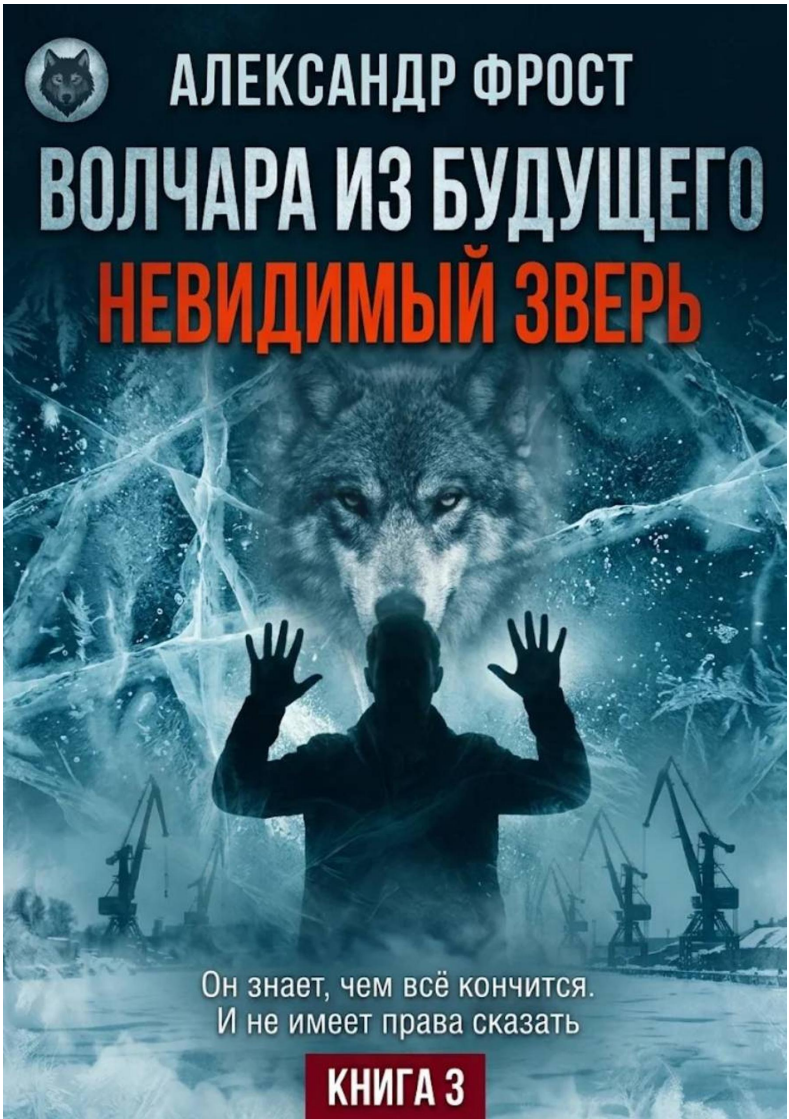

АЛЕКСАНДР ФРОСТ
ВОЛЧАРА ИЗ БУДУЩЕГО
НЕВИДИМЫЙ ЗВЕРЬ
Он знает, чем всё кончится.
И не имеет права сказать
КНИГА 3

Александр Фрост

Волчара из будущего. Невидимый зверь

https://litres.ru/74787102
SelfPub; 2026

Аннотация

Хабаровск, 1939 год. Из затона вырубают лёд для котельной, и вместе со льдом поднимается шкипер со связанными за спиной руками. Заявление о контрабанде в порту он написал за месяц до смерти, и его переслали тем, на кого он жаловался.

Старший лейтенант Волченко ведёт сразу два дела: «тело в воде» и серию убийств, которой официально не существует. Новая власть в НКВД торопится закрыть и то и другое, и ей нужен не убийца, а подходящий виновный.

В этом городе у каждого есть секрет, который он не покажет. Секрет убийцы ничем не выделяется на их фоне.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	19
Глава 3	33
Глава 4	48
Глава 5	62
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Александр Фрост
Волчара из будущего.
Невидимый зверь

Глава 1

Чернила у счётчицы замёрзли ещё на лестнице.

Она вошла в квартиру на Запарина, 24, в семь сорок утра, семнадцатого января: валенки до колен, платок поверх шапки, под мышкой портфель, а из-за пазухи, как из-под крыла, вынула пузырёк и подышала на него, прежде чем сковырнуть пробку.

— Тридцать один, — сказала она вместо приветствия. — Ношу под пальто. Пишу карандашом, подписываю чернилами, а чернила, пока я дойду до подписи, оттают. Переписчик Зайцева Ирина Павловна, одиннадцатый участок. Учительница, четвёртый класс. Меня прислали не за красивые глаза.

— За почерк, — сказал Волченко.

— За почерк и за то, что не пью и не болтаю. — Она быстро оглядела коридор: шкаф, лыжи на стене, детские санки под вешалкой. — Мне сказали, в пятой квартире милиция, и к милиции без стука не входить, потому что она встаёт рано и не любит. Вот я постучала.

— Вы вошли. Дверь была открыта.

— Значит, вы ждали.

В этой логике было что-то неотразимое, и он отступил, давая ей дорогу.

Считали на кухне: единственном месте в квартире, где было тепло. Примус гудел под баком с бельём, жена машиниста Фекла Ивановна стояла в дверях с мокрыми руками и не знала, куда их деть. Телефонистка Тамара Ильинична в байковом халате прижимала к себе дочку Лидочку, восьми лет, и обе смотрели на портфель счётчицы, как смотрят на врача с чемоданчиком. Дрозд сидел на табурете в жилете, при часовой цепочке, с газетой, которую не читал, и всем видом показывал, что пришёл не по обязанности, а по праву.

— Я первый, — объявил он. — По старшинству.

— По списку, — возразила Зайцева. — Но если вы настаиваете.

Она разложила на клеёнке длинные листы, придавила их солонкой, подула на пальцы и стала спрашивать, не поднимая головы. Дрозд сообщил, что родился в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом, когда это место называлось Хабаровкой, и что город сменил название, а он нет. Зайцева записала: Хабаровск. Писала она быстро, твёрдым круглым почерком, и пальцы в нитяных перчатках с обрезанными кончиками были серыми, как у человека, который всю жизнь пишет мелом на доске.

— Грамотность.

— Читаю на трёх языках. Но нигде не нахожу ничего нового.

Фекла Ивановна кашлянула в кулак. Карандаш на секунду замер.

— Пишу: грамотный, — сказала Зайцева. — Общественная группа. Вы по библиотеке?

— Переплётчик. Раньше кустарём был, теперь служащий. Руки те же.

Тамара Ильинична подалась вперёд, и на лице у неё было то выражение, с каким люди собираются спросить о неприличном.

— Скажите, а правда, что прошлую перепись вредители проводили? — Она понизила голос. — Говорят, одних считали, а других нарочно нет.

— Эту проверяют по трём спискам, — сказала Зайцева, не переставая писать. — Домовая книга, жилконтора, милиция. У вас, товарищ Волченко, как раз третий. Мне положено вас посчитать, а вам положено, чтобы я посчитала правильно. Так что нам друг от друга не уйти.

Она сказала это шутливо, но шутка получилась с зазубриной, и в кухне стало тихо. Примус гудел. Из бака поднимался пар, оседал на окне и стекал по стеклу полосами.

— А если кого не застанут? — спросила Фекла Ивановна.

— Придём повторно. Переписывают шесть дней. — Зайцева перевернула лист. — Скажем, на Серышева, в общежитии пекарни, четырнадцать коек. Спят семнадцать человек:

на двух койках по двое, один на сундуке. Считаю, кого застала. Кого не застала, того не посчитала. В бланке нет графы «где вы были».

Волченко не шевельнулся.

Общежитие на Серышева. Узкий коридор с вахтёршей Агафьей Тихоновной, кот на скамейке, комната девять, где семнадцатого ноября тридцать седьмого года на столе осталась стоять кружка с недопитым чаем.

— А если человек живёт не там, где прописан? — спросил он.

— Пишу наличное население. Прописка — другая бухгалтерия. — Зайцева подняла на него быстрые серые глаза. — Вы про тех, кто ночует по углам? Они от переписи прячутся тоже. Не от меня: от дворника, от милиции, от начальства. Я им говорю: никуда не передам, это только для статистики. Не верят.

— И правильно делают, — сказал Волченко.

Она кивнула и вернулась к бланку.

Он вдруг увидел это целиком. Государство снова считало всех сразу, ночью, по койкам и сундукам, и выходило, что не прописанный не лишний, а несуществующий. Потерять можно только того, кого кто-то имел. Женщина, которой дважды отказали в прописке, ничьей не была: ни у милиции, ни у жилконторы, ни у домовой книги. Её не искали по той же причине, по которой не считали.

А тот, кто выбирал, это знал.

— Теперь вы, — сказала Зайцева.

Он сел на освободившийся табурет. Фамилию с отчеством назвал без труда, возраст тоже.

— Год рождения.

Цифра стояла во рту, как косточка. Он знал её лучше собственной фамилии: тысяча девятьсот шестьдесят девятый. Её выдавали паспортные столы, её вписывали в страховые полисы, она стояла на могильных плитах. Он проглотил её и сказал:

— Двенадцатый.

— Место рождения?

— Иркутск.

— Национальность. Русский. Состоите ли в браке: нет. — Она спрашивала и отвечала сама, не дожидаясь, и он сообразил, что вся кухня уже слушает, как ему отвечают за него. — Образование. Занятие. Служба в милиции. Общественная группа: служащий.

— Служащий, — повторил Волченко.

— Милиция тоже служащие, — сказала Зайцева, не улыбаясь. — Не волнуйтесь, я вас никому не передам.

Она подписала лист, поднесла его к окну, посмотрела на свет. Чернила уже оттаяли, подпись легла круглая, чёткая.

— Следующий.

Лидочка потянула мать за халат.

— Мам, а собак считают?

— Нет, — сказала Зайцева, и впервые за утро голос у неё

потеплел. — Собак не считают. Они сами о себе помнят.

* * *

В отделе заседали в половине десятого.

Гусев собрал всех в кабинете, потому что в коридоре дуло: Зину с блокнотом, Паршина, Цоя, дежурного Мухина и двоих из оперативной группы. Белова пришла последней, села у двери со своей папкой и положила на колено лист, исписанный мелким почерком. Гусев начал с того, что открыл газету и прочёл заголовок вслух, чтобы все слышали, как он звучит: «Перепись населения началась».

— Началась. — Он положил газету на стол. — Это вам не повод успокаиваться. Теперь получите циркуляр.

Циркуляр пришёл вчера, на двух страницах, с фиолетовым штампом, и Гусев держал его двумя пальцами за угол, как письмо с плохими вестями. В нём было сказано, что нарком внутренних дел товарищ Берия предписывает проверить все дела, возбуждённые с начала тридцать седьмого года, на предмет нарушений социалистической законности. О результатах доложить до первого марта.

— Все дела? — спросил Мухин.

— Все. Какие мы вели, какие нам спустили. Кого посадили не по закону, кого по закону, но не за то. Кто подписывал, кто присутствовал.

Он обвёл взглядом комнату. Никто не смотрел на него

прямо: Мухин изучал свои ключи, Цой пол, Зина поправляла на машинке бланк.

— Я скажу вам, как я это понимаю. Они ищут не убийц. Они ищут тех, кто ошибался. Если вы вспомните дело, где вас торопили и вы подписали не глядя, вспомните его сами, раньше, чем вспомнят за вас.

— И вернут тех, кого посадили? — спросила Белова.

Все повернулись к двери. Гусев посмотрел на неё, как смотрят на человека, который громко заговорил в церкви.

— Вернут некоторых, — сказал он наконец. — Каких и когда, не знаю. Расходитесь.

В коридоре она догнала Волченко у окна. С той стороны на стекле висел наледный узор, разросшийся за ночь до пальмовых листьев, и сквозь него просматривались только тёмные пятна: дворовые сараи и труба котельной.

— Меня сегодня считали в семь десять, — сказала она. — Спросили профессию. Я сказала: следователь. Полчаса объясняла, что это не «служитель культа».

— У меня ушло на год рождения.

— Я видела, как вы вошли в отдел. С лицом человека, который что-то подсчитал.

Он рассказал ей про общежитие на Серышева, коротко, в три фразы: четырнадцать коек, семнадцать спящих, кого не застали, того не посчитали. Белова выслушала, не перебивая, и чуть наклонила голову. Так она делала всегда: не требовала ответа, а оставляла вопрос лежать на подоконнике,

как оставляют кружку, которую всё равно придётся забрать.

— Я зайду к знакомой учительнице, — сказала она. — Они все ходили по участкам и любят пересказывать, что видели. Фамилии нам не нужны. Нужны адреса, где людей застали больше, чем коек. Бумаги секретные, а слова учительниц нет.

— Нигде не запишут.

— Поэтому и расскажут. — Она взглянула на него снизу вверх. — Я не прошу разрешения, Михаил Андреевич. Я говорю, чтобы вы потом не удивлялись.

Она ушла по коридору быстрым шагом, придерживая папку локтем, и внизу хлопнула дверь.

* * *

К Лукину он пошёл после обеда, в здание рядом, где коридоры пахли сургучом и мокрыми шинелями.

Кабинет у помощника прокурора был натоплен так, что окно запотело изнутри, и сквозь этот пар город казался нарисованным акварелью. Лукин сидел за столом, прямой, в чистом воротничке, и карандаш лежал параллельно краю столешницы, как всегда. Он поднял голову и не стал здороваться.

— Садитесь, Волченко. Вы пришли очень вовремя, и это мне не нравится. — Он открыл ящик, достал папку и положил её между ними. — Ваш рапорт об объединении ро-

зыскных дел. Копия с моим входящим номером. Я говорил вам, что бумага будет лежать. Я не говорил, что её кто-нибудь спросит.

— Спросили?

— Позавчера из края потребовали списки нераскрытых дел, которые «не имеют установленного мотива». — Лукин положил на папку ладонь, и Волченко заметил, что пальцы у него чуть желтоватые, от табака, которого он не курил, а только держал. — Я выложил все. Среди них оказалась ваша серия. Не серия, разумеется. «Группа дел с общим признаком, по которой просматривается возможная недоработка органов милиции в тысяча девятьсот тридцать четвёртом — тридцать восьмом годах».

— Недоработка.

— Это слово, которое теперь разрешено. — Лукин усмехнулся одной стороной рта. — Вы думали, что искать убийцу позволят из человеколюбия? Нет. Позволят, если можно будет сказать, что прежние начальники его не искали. Новая власть любит находить то, что до неё потеряли. Это очень удобный способ жить.

— Значит, можно работать.

— Можно просить. — Он перевернул страницу. — Эксгумация Ярцевой. Вы просили её с июля. Лавренюк тоже пишет, регулярно, как ходит на почту. Я санкционирую.

Волченко подался вперёд.

— Когда?

— Когда оттает земля. Зимой её не поднимешь: придётся жечь костры, и экспертам потом нечего будет показывать, кроме угля. Апрель.

— Апрель, — согласился Волченко.

— Хорошо. — Он написал в углу листа короткую резолюцию, подул на неё, хотя карандаш не требовал, и положил в тот же ящик. — Теперь обратное. Не ждите благодарности. Это не милосердие, Волченко, это бухгалтерия. Когда они досчитают, кто виноват, они захотят знать, кого ещё можно списать. Те, кто спрашивают, часто платят первыми.

— Знаю.

— Я не думаю, что знаете. — Лукин посмотрел прямо. — Вы моложе, чем говорите. И умнее, чем положено. Это опаснее.

Он закрыл папку.

— Справка Особого отдела по вашему санитару так и не пришла?

— Нет. «Ждём».

— Через мою прокуратуру она не пойдёт. Это их кухня. — Лукин встал, давая понять, что разговор окончен. — Если придёт, не радуйтесь заранее. Они любят отвечать так, чтобы нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть.

На лестнице Волченко остановился. «Недоработка»: слово, которым прикрывают чужое молчание, оказалось бумажным щитом, и работать ему предстояло под ним. Что искали плохо, было правдой. Возразить против этого он не мог.

* * *

До Нижней набережной он добрался уже в темноте. День в январе кончался в начале пятого: свет уходил из города без перехода, и фонари зажигали, когда на улицах ещё стояли длинные синие тени.

Склад Дальлеса стоял за глухим забором, в конце набережной, где кончалась мостовая и начинался берег. Амур отсюда лежал белой равниной, лёд в метр толщиной, и у самого берега темнели косые линии проруби. За рекой, на китайской стороне, горели две лампочки.

Он не собирался сюда идти. Это он повторял себе всю дорогу. Корнеев велел не допрашивать повторно, и Волченко не допрашивал: шёл без бумаги и без вопроса, а если кто-нибудь спросит, ответит, что проверяет караулы, в связи с циркуляром. Любая проверка в январе тридцать девятого могла означать что угодно.

Собаки услышали его раньше, чем увидели. Шарик, огромный, лохматый, с белым пятном на морде, вылетел из-за будки и остановился в двух шагах, не лая, а только оскаливая верхнюю губу. Следом вышла Дымка, тощая и серая, и обнюхала его сапог.

— Свои, — сказал из темноты Глухов.

Он стоял у входа в будку, в той же серой шинели без петлиц, подшитой и чистой, и на этот раз у него был тулуп по-

верх, овчинный, явно чужой, с чужого плеча, и уши шапки опущены, так что лицо выглядывало узким пятном. Левое ухо замотано платком. Руки в рукавицах.

— Заходите, — сказал он. — Только осторожно, там щенки.

В будке пахло йодом, дымом и мокрой шерстью. Буржуйка светилась красным, ящик вместо стола, на подоконнике туго свёрнутый бинт. В углу, в картонной коробке с подстилкой из шинельного сукна, возились четыре комка шерсти, чёрно-серых, слепых. Дымка легла рядом и положила морду на край коробки.

— Тринадцатого, — сказал Глухов. — Ночью. Я думал, не успею, у меня смена, но она подождала. Умная.

Он присел на корточки, взял одного щенка за шкирку и поднёс к лампе. Тот пискнул и сунулся носом в рукав.

— Хотите? Через месяц отдам.

— Мне нельзя. Коммуналка.

— Тогда не надо. — Глухов положил щенка на место. Руки у него были спокойнее, чем в ноябре, но не тише: дрожь сидела где-то глубже, как ток в проводе, пока нет нагрузки. — Вы по делу?

— Нет.

— Вы всегда по делу. Просто сегодня без бумаги.

Волченко усмехнулся и присел на единственный табурет.

— Спишь?

— Нет. Слушаю.

— Что?

— Реку. Зимой она разговаривает. Лёд работает, трескается, меняет места. Сначала мне казалось, что это стреляют. Потом привык. Потом стал различать. — Он посмотрел на печь. — Вот есть звук, когда лёд встаёт на дыбы: низкий, длинный. А есть другой: короткий, будто кто-то ударил по доске. Это когда замерзает вода в трещине. А бывает, что кричит.

— Кричит?

— Ну да. Лёд кричит. Когда идёт по нему тяжесть, а слышно под ней. Я в декабре слышал. — Глухов поднял глаза. — Одиннадцатого. Я точно знаю, потому что записал.

Он встал и достал с полки тетрадь в клеёнчатой обложке, с замусоленным углом. Сторожевой журнал: «Дата. Время. Происшествия. Принято. Сдано». Листал не глядя, находя страницу наощупь.

— Вот. Читайте.

Строка шла наискось, мелким рваным почерком человека, у которого трясутся руки: «11.12. Около 22 час. На льду у Затона шум, сани без огня, лошадь, двое или трое. Один человек кричал, потом нет. Голоса не по-нашему. Принял за пьяных, вышел, никого не видел. Собаки не лаяли».

Волченко прочёл дважды.

— Не по-нашему, — сказал он. — Это как?

— По-китайски, наверное. Или по-ихнему как-то. Они тут ходят, по льду, зимой. Контрабанда, спиртные дела. У

нас на складе народ говорит: не вмешивайся, целее будешь. Я и не вмешиваюсь. — Он закрыл тетрадь. — Но записываю. Я привык записывать. В санбате тоже записывал: кого принял, кого отправили, кого… — Он не договорил.

— Можно переписать?

Глухов пожал плечами. Волченко достал блокнот и переписал строку слово в слово, с датой и временем: привычка к фиксации, выработанная за тридцать лет прокурорской службы и сейчас ничего не значившая. Сторож слышал шум на реке. Ночью на реке всегда шум.

Глухов подбросил в буржуйку полено, и пламя за заслонкой присело.

— Зачем пришли? — спросил он негромко. — Я не обижаюсь. С октября ни от кого не слышал, чтобы к человеку приходили без дела.

— Мне стало интересно, как ты.

— А. — Он кивнул, получив ответ на давний вопрос. — Ну вот. Живу.

Волченко поднялся. У двери обернулся: Глухов стоял над коробкой с щенками, сутулый, в чужом тулупе, и держал в ладонях одного из них, самого маленького, как держат что-то хрупкое, что не должно остыть. Лицо у него было такое, какого Волченко у него ещё не видел: не сломленное и не пугающее, а просто лицо человека, у которого в январе родились четыре щенка.

Он вышел на набережную. Мороз стоял такой, что при

вдохе слипались ноздри, и воздух над рекой был прозрачный, жёсткий, с острыми гранями. Фонарь у забора горел жёлтым, неровным кругом. За рекой две китайские лампочки мигнули и погасли.

И вдруг, под ногами, под землёй, под метром льда, что-то ухнуло. Глухо, протяжно, словно в глубине реки лопнула огромная струна. Звук прошёл по всей длине берега, до самого устья, и замер.

Волченко стоял неподвижно и слушал.

Потом по льду, медленно, пошла вторая трещина.

Глава 2

Лёд на затоне вырубали шесть дней.

Не весь: только канал от берега до котельной ремонтной базы, в три шага шириной и в сорок длиной, чтобы котлам не пришлось пить из сугроба. Хабаровский затон лежал в протоке за песчаной косой, километрах в двух выше города, и на зиму сюда загоняли флот пароходства: буксиры, баржи, плашкоуты, колёсные пароходы с заколоченными трубами. Их вмораживали носом к берегу, рядами, и под снегом они стояли, как чёрные стога.

Пешни били по льду с утра до сумерек, сменяясь каждые полчаса. Звук шёл по протоке с промежутком в две секунды, и Волченко, спускаясь от автобусного круга по тропе, поймал себя на том, что считает: раз, два, удар. Раз, два, удар. Он перестал, но счёт продолжился без него.

Дежурный по отделу позвонил в начале десятого. Шестое февраля, понедельник, мороз двадцать шесть, ветер с реки. Цой ехал рядом с фотографическим ящиком на коленях и держал его обеими руками, как держат за пазухой больного ребёнка: пластинки на холоде лопаются.

— Говорят, подняли в половине девятого, — сказал он. — Лопатин ударил пешней, а глыба не пошла вниз. Встала.

— Кто такой Лопатин?

— Ремонтник. Нервный.

— Станешь нервным.

На берегу, у котельной, стояла кучка людей в ватниках и тулупах. Они держались не вместе, а поодиночке, на расстоянии шага друг от друга, как стоят у чужого горя. Навстречу вышел старик в тулупе до пят, с бородой, обросшей по краям инеем. Он снял рукавицу и протянул руку.

— Мамонтов, Ефим Кузьмич. Старший сторож затона. — Рука была сухая, твёрдая, как дерево. — Это я вам звонил. То есть через дежурного. Ходите за мной, только не бегом: там лёд мокрый.

Канал был вырублен до чёрной воды, и вдоль него лежали глыбы, голубые, с белыми прожилками пузырьков. Одну, самую большую, не стали уносить. Её выволокли на лёд баграми и положили на бок, и Волченко подошёл, сразу поняв, почему.

Лёд над ним был прозрачный, как стекло в витрине.

Человек лежал внутри, лицом вверх, чуть склонив голову набок, и казалось, что он хочет разглядеть тех, кто на него смотрит. Овчинный полушубок, в котором застыли ледяные волосинки, валенки с красным ободком, одна рука прижата к боку. Шапки не было. Лицо было серое, спокойное, с короткой чёрной щетиной, и сквозь толщу льда казалось, что оно сделано из воска. Глаза открыты.

— Лежал под самым ледяным настом, — сказал Мамонтов, понизив голос. — В канале, где вода держится. Течение его туда подогнало, наверное. Он головой во льду прихвачен

был, потому и не ушёл.

— Когда лёд встал?

— В двадцатых числах ноября. А второго декабря снег пошёл густо. Мы тут по льду ходим каждый день, и никто под ногами не видел. — Мамонтов поправил рукавицу. — Он давно тут.

Цой поставил ящик на лёд, развернул треногу, и этот звук, сухой щелчок раздвигаемых ножек, показался Волченко слишком громким. Рабочие повернули головы. Цой навёл камеру на глыбу.

— Руки, — сказал он негромко.

— Что?

— Смотри. Левая прижата к боку. Правая за спиной.

Волченко присел. Лёд обжигал колени сквозь шинель. Он обошёл глыбу с другой стороны, насколько позволял багор, поддевший край, и увидел то, что от берега не было видно: оба запястья человека лежали за спиной, и вокруг них темнела тонкая пеньковая верёвка, замёрзшая, как стеклянная.

— Связан, — сказал он.

— Связан, — подтвердил Мамонтов. — И узел, если разглядите, не простой.

Узел был обмотан тонкой льдиной, но видно было: двойная петля вокруг запястий и поверх неё, под прямым углом, ещё одна, туго закинутая и прихваченная. Волченко ничего не понял.

— Что это?

— Шкиперский. Наш, речной. — Мамонтов нагнулся, придерживая рукой тулуп. — Видите, концы выведены внутрь, под витки, а не наружу? Так фалинь вяжут, когда он должен держать, а не развязываться. На плоту, на барже, в шторм. Сухопутный человек так не завяжет. Он бы пустил концы наружу, чтоб было за что дёргать.

— Развязать можно?

— Можно. Если знаешь, за какой конец. — Старик выпрямился. — Я вам скажу: за три десятка лет я слышал один раз, чтоб так вязали человека. В двадцать втором. Не при мне, мне рассказали.

— Кто?

— Не помню. Умер давно.

— Вы его знаете? — Волченко кивнул на глыбу.

— Знаю. — Мамонтов смотрел на лицо за стеклом. — Костылёв Игнат Платонович, шкипер «Ударника». Вон он, во втором ряду, у самого берега, вмёрзший. У него вахтенный сторожит, Баранов. А Игнат Платонович пропал в декабре, сказали: загулял, домой не пришёл. Баба его, Матрёна, ходила, по затону бегала, в милицию писала, ей сказали: ждите.

— Давно писала?

— В двадцатых числах. — Старик перекрестился, быстро, одной рукой, и тут же сунул её в рукавицу, оглянувшись на рабочих. — Шкиперы, они на зиму сами себе хозяева. Бывает, у любовницы живёт. Никто не искал.

Волченко кивнул.

Он не мог не думать, что фраза «никто не искал» ложится на этот день, как отпечаток на воск.

* * *

Корнеев приехал в половине двенадцатого.

Волченко услышал машину раньше, чем увидел: тяжёлый ход «эмки» по укатанному снегу, потом хлопнула дверца. По тропе, ведущей от берега, спускался человек в тёмной шинели, подпоясанный, в фуражке с синим верхом. Он шёл осторожно, не торопясь, ставя ногу сначала на носок, как ходят по тонкому льду, и за ним, в трёх шагах, шёл молодой лейтенант с блокнотом.

— Михаил Андреевич, — сказал Корнеев, подойдя. — Здравствуйте. Не вставайте.

Волченко и не вставал. Он стоял на колене у глыбы, и Корнеев остановился над ним и несколько секунд смотрел на то, что лежало во льду. Лицо его не изменилось. Он смотрел на мёртвого так, как смотрят на документ, где нужно найти одну нужную строку.

— Давно лежит, — сказал он. — Не меньше месяца. Руки?

— Связаны сзади. Узел шкиперский.

— Вот как. — Корнеев достал из кармана шинели бумажный кулёк, развернул его, взял тонкую прозрачную дольку сушёного яблока и отправил в рот. Жевал медленно, думая

о чём-то. У Волченко, которому от запаха замёрзшей реки и без того подкатывало к горлу, дёрнулась щека, и он отвернулся. — Простите. Язва. Врачи велели вместо папирос.

— Ничего.

— Режимный объект, — продолжал Корнеев, глядя на корабли, вмёрзшие в протоку. — Зимовка флота пароходства: восемьдесят единиц, из них одиннадцать мобилизационного назначения. Любое тело на затоне дежурный по управлению докладывает раньше, чем начальнику милиции. Мне, потому что я курирую ваш угрозыск по краю. Порядок такой.

— Понятно.

— Транспортный отдел заберёт, если захочет. — Он слегка наклонил голову, не оборачиваясь к лейтенанту, и тот что-то записал. — Но не захочет, я думаю. У них на всю воду два оперативника и ни одного свободного. А тут связанный человек, два месяца подо льдом, и сразу видно, что начальству не понравится: «утонул пьяным» не проходит.

— Я так и думал.

— Тогда ведите вы. Только осторожно.

— Осторожно что?

— Порт и затон хозяйство тёмное, Михаил Андреевич. Там у каждого свой интерес, и все друг другу родня. Спросишь одного — ответит другой. — Он поправил фуражку. — Я вам не указываю. Говорю как человек, который видел, чем это кончается.

Он говорил негромко, без нажима. Усталость, пожалуй:

серая усталость человека, у которого с утра на столе лежит куча бумаг, и каждая важнее остальных.

— У вас других дел нет? — спросил Волченко.

— У меня сейчас на столе такое, что вам лучше не знать. Новая метла, вы читали. — Корнеев чуть усмехнулся. — Все друг на друга оглядываются. Работы стало больше, а людей меньше.

Он ещё раз посмотрел на глыбу, не на лицо, а на узел, и Волченко заметил, что взгляд его скользнул по нему и пошёл дальше, не задержавшись. Потом Корнеев козырнул, не по-уставному, двумя пальцами у виска, повернулся и пошёл обратно по тропе тем же осторожным шагом. Лейтенант побежал следом, оступаясь.

Волченко смотрел ему вслед.

«Ведите вы», — сказал Корнеев.

Обычно Корнеев тянул дела к себе, а это отдал без борьбы. Волченко отнёс это на счёт новой метлы: наверху стало не до затонов, и каждый берёг свои бумаги.

Он поднялся. Колени затекли. Цой уже снимал узел крупно, со спичечным коробком для масштаба: привычка, которую Волченко завёл в мае и которая прижилась без разговоров, в двух экземплярах.

* * *

Зильберман приехал в начале первого, на санях с лоша-

дью, которую выделил Лукин. Он сидел в санях боком, вцепившись в кожаный саквояж, и всем видом не соглашался с маршрутом.

— Краевой эксперт на курсах в Москве, — объявил он вместо приветствия, слезая на лёд и тут же проваливаясь по щиколотку в мокрый снег. — Городской лежит с гриппом. Я сорок минут просидел в приёмной у Лукина, чтобы мне сказали: Яков Семёнович, вы нужны. То есть я, значит, нужен. Какое приятное известие.

Он стоял в той же тёмной шубе с вытертым воротником, в очках, запотевших на морозе, и по сравнению с осенью очень сильно сдал: лицо серое, под глазами мешки, руки в тонких перчатках трясутся не от холода. Чайник, подумал Волченко, чайник у него кипит. Починил. Только человек, который починил чайник, всё равно остался один.

— Здравствуйте, Яков Семёнович.

— Здравствуйте. — Зильберман не подал руки. Он подошёл к глыбе, поставил саквояж на лёд, снял очки, протёр их полой шубы, надел обратно и несколько секунд разглядывал то, что лежало во льду. — Ну. Это не наш случай.

— Наш?

— Я имею в виду, что здесь нет ни сложенных вещей, ни лапника, ни бус. — Он сказал это сухо, не глядя на Волченко. — Вы подумали про то же самое, раз позвонили мне, а не городскому. Я сказал вам: не обольщайтесь.

— Я ничего не думал.

— Вы всегда что-то думаете. У вас на лице написано: «серия». — Зильберман присел на корточки, кряхтя, и потрогал лёд. — Ладно. Сейчас ничего не скажу. Оттаивать будем сутки, в холодной, потом вскрытие. Но кое-что скажу.

Он ткнул пальцем в сторону затылка, который виднелся под наклоном, сквозь лёд.

— Видите тёмное пятно? Это не тень. Скорее всего, кровоподтёк. Удар. Но не из тех, что убивают сразу: слишком низко, по затылочному бугру. Либо оглушили, либо он упал. А руки связаны уже после, потому что вязали мёртвого, или почти мёртвого: на запястьях нет следов рывков, значит, он не вырывался.

— Не вырывался.

— Не вырывался. Значит, не мог. — Зильберман поднял голову, и Волченко увидел, что глаза у него усталые, красные, очень старые. — Вы всё ещё думаете, что это я?

Вопрос прозвучал неожиданно: буднично, без вызова, как спрашивают, который час.

— Я думаю, что у вас нет алиби на три даты, — сказал Волченко.

— Совершенно верно. Нет. И я вам скажу, что самое мерзкое. Я привык. Первые полгода я просыпался в три часа ночи и перебирал: где я был пятнадцатого августа. Потом перестал. Если вы однажды придёте за мной, я уже буду знать, что вы ошиблись, и ничего вам не скажу, потому что это, в сущности, неинтересно. — Он выпрямился. — Дайте мне

двух людей, чтобы перенести его. Осторожно. Не за руки, не за ноги: вместе со льдом.

— Лёд не расколется?

— Расколется, и тогда мы потеряем время. Так что осторожно.

Рабочие понесли глыбу на носилках из жердей, как носят что-то хрупкое, и Волченко шёл рядом, придерживая край, и чувствовал сквозь рукавицу холод, который шёл изнутри льда, не такой, как у воздуха: влажный и глубокий. Лёд дышал сам. Он вдруг подумал, что слышит под ногами тот же ритм, что был утром: раз, два, удар. Пешни уже стихли. Что-то стучало в нём самом, мерно и тонко, как если бы кто-то далеко за стеной отсчитывал время.

Он остановился.

— Что? — спросил Зильберман.

— Ничего. Показалось.

— Вы побледнели.

— Холодно.

Зильберман посмотрел на него внимательно, без улыбки, и ничего не сказал. Ритм ушёл так же, как пришёл.

* * *

«Ударник» стоял во втором ряду, у самого берега: низкий буксирный пароход с двумя трубами, обмётанный снегом, с брезентом на мостике и дымком над кормовой трубой. Ря-

дом с ним на льду торчал фанерный щит: «Зимовка. Посторонним вход воспрещён».

Вахтенного звали Баранов Тихон. Ему было лет шестьдесят, он жил в кубрике, топил печурку и не любил, когда его беспокоят. Волченко нашёл его в рубке, где тот сидел перед вахтенным журналом, как перед вскрытым письмом, и по виду было ясно, что он заранее знает, о чём его спросят.

— Игнат Платоныч, — сказал он, не дожидаясь вопроса. — Мне уже сказали. Бабы по затону носят быстрее радио.

— Когда вы видели его в последний раз?

— Одиннадцатого. Сходил он, в воскресенье. — Баранов перелистнул журнал назад, ткнул толстым пальцем с грязным ногтем. — Вот.

Запись шла в строку, синим карандашом, большими буквами человека, который привык писать на ветру: «11.12. Шкипер Костылёв Игн. Плат. в 22.10 сошёл на лёд. Сказал: до утра, по бумагам, ждать не надо. Вахту сдал».

— По бумагам, — повторил Волченко.

— Так он сказал.

— Какие бумаги?

— Не знаю. Он последние месяцы всё про бумаги. — Баранов потёр небритую щёку. — Он, Игнат Платоныч, человек был дотошный. Счета на уголь проверял, накладные. Это у нас не принято, мы на воде люди простые: взяли, отдали, расписались. А он сядет с лампой и сидит. Ругался. Говорил: тяжело баржи ходят, не по накладным.

— Что значит «тяжело»?

— Осадка. — Баранов посмотрел на него, как на человека, не знающего очевидного. — Груз идёт по бумагам на сорок тонн, а баржа сидит в воде, как на шестьдесят. Я не знаю, где у него что не сходилось. Я не шкипер.

— Он кому-нибудь про это говорил?

— Не мне. — Старик понизил голос, хотя в рубке больше никого не было. — Говорил, что писал. Куда писал, не сказал. Ему там обещали ход. Он в последний месяц повеселел, ходил с видом человека, получившего бумагу, что можно спать спокойно.

Волченко записал.

— Он в тот вечер был один?

— Сошёл один. Но к кому — не знаю. На льду стоял кто-то, наверное, потому что он не оглядывался. Вот у меня тут, — Баранов показал в сторону берега, — в тот вечер сани проехали. Видел из окна. Две подводы, лошади в темноте, фонаря нет. Я не поглядел: у нас тут часто по ночам ходят, и лучше не поглядеть.

— Не поглядел?

— Я человек старый. Мне пенсия светит.

Он сказал это просто, без вызова, и закрыл журнал.

— Можно взять? — спросил Волченко.

— Берите, оформите, как положено. Мне велят сдавать по описи. — Баранов поднял на него глаза. — Вы ведь найдёте, кто?

— Постараюсь.

— Постарайтесь. — Он отвернулся к иллюминатору. — Игнат Платоныч мне должен был десять рублей. Не жалко. Но человек был хороший.

Волченко вышел на палубу. Мороз ударил в лицо, острый, чистый, и на секунду ему показалось, что воздух звенит, как стекло. Затон лежал под ним белый и пустой, ряды чёрных корпусов, дымки над трубами, и вдалеке, у котельной, ещё стояли люди и смотрели на то место, где вырубили канал. Больше смотреть было не на что.

Он достал блокнот. Не для записи: просто чтобы почувствовать в руке что-то знакомое. Страницы шуршали на ветру. Он листал, пока не наткнулся на ту, что исписал три недели назад в будке на Нижней набережной.

«11.12. Около 22 час. На льду у Затона шум, сани без огня, лошадь, двое или трое. Один человек кричал, потом нет. Голоса не по-нашему».

Он прочёл ещё раз.

Одиннадцатое декабря. Около двадцати двух часов. На льду у Затона. Сани без огня: вот они, две подводы, проехавшие в тот вечер, которых вахтенный не поглядел.

Когда Глухов говорил «у Затона», Волченко решил, что он говорит о реке. Он говорил о месте.

Блокнот захлопнулся от ветра. Волченко стоял на палубе чужого парохода, вмёрзшего в чужой лёд, и думал, что у него в руках сейчас лежит единственный свидетель по делу, ко-

торого не было ещё три часа назад. Единственный, и притом такой, которого в ноябре он чуть не записал в убийцы.

А это значило, что любой, кому нужно было, чтобы Костылёв остался подо льдом, мог узнать, что в ту ночь кто-то видел.

Глава 3

Холодная при городской больнице помещалась в подвале, под котельной, и тепло от труб проходило над ней по потолку, не спускаясь ниже. Зильберман любил это место: здесь можно было работать без шубы.

Тело Костылёва оттаивало сутки на цинковом столе, и к утру седьмого февраля вода собралась в желобе тёмной лужей, пахнущей рекой. Эксперт стоял в клеёнчатом фартуке, с засученными рукавами, и перебирал инструменты, как перебирают струны, прежде чем играть.

— Вы можете выйти, — сказал он Белове, не поворачиваясь.

— Не выйду.

— Тогда встаньте к стене. И не к той, где течёт.

Она встала, раскрыла папку и положила её на сгиб локтя, чтобы писать стоя. Волченко видел за тридцать лет сотни вскрытий и давно научился смотреть на стену над плечом эксперта. Белова смотрела прямо, и он, не желая того, заметил, что у неё побелели костяшки пальцев на карандаше, а голос, когда она начала диктовать себе протокол, был сух, как линейка.

— Мужчина, сорок — сорок пять лет, — говорил Зильберман. — Хорошо упитан. Кожа с признаками длительного пребывания в холоде, мацерации нет: лёд консервирует, это

нам на руку. Одежда: полушубок, бумазейные брюки, валенки. Карманы…

Он вынул из карманов то, что там было. Коробок спичек, размокший. Огрызок карандаша. Моток шпагата. Больше ничего.

— Паспорта нет, — сказала Белова.

— Паспорта нет, документов нет. Бумажника нет. — Зильберман поднял тонкую руку покойного, повернул кверху запястье. — Часы носил. Вот след: на коже полоса светлее остального, видите? Часы с широким ремешком. Их сняли.

— Грабёж? — спросил Волченко.

— Не знаю. Это ваша область. Я знаю, что сняли, когда уже связывали. Потому что борозды от верёвки лежат поверх следа от ремешка.

— И что?

— И то, что человек, вязавший его, снял часы, потом связал, а не наоборот. Он был аккуратен. Он не торопился.

Верёвку Зильберман не развязывал. Он срезал её рядом с узлом, оставив петлю нетронутой, и положил на лоток отдельно, на белую бумагу. Узел лежал, как диковинный жук: двойное кольцо и поперечный захват, концы убраны внутрь.

— Приступим, — сказал Зильберман и взялся за скальпель.

Волченко отвёл глаза. Белова, наоборот, придвинулась на шаг.

Зильберман работал сорок минут, диктуя вполголоса,

медленно, без украшений. На затылке нашёл одну рану, ушибленную, четыре сантиметра, с вдавленным переломом по правому затылочному бугру: «тупой предмет с ребром. Обушок топора, рукоять багра, ключ от штурвала. Не знаю». Под твёрдой оболочкой — кровоизлияние. Потом занялся грудной клеткой, и Волченко услышал, как умолк голос и что-то негромко чавкнуло, и сразу после этого эксперт сказал:

— Вот.

— Что?

— Лёгкие. — Зильберман поднял голову, и очки его блеснули. — Сухие. Пены в дыхательных путях нет. Воды в бронхах нет. Он не тонул.

— То есть умер до воды.

— Умер до воды. Через час или два после удара: от кровоизлияния. Его оглушили, потом, вероятно, лежал, уже не приходя в сознание, а потом — когда стал мёртвым — его связали и спустили под лёд. Связали мёртвого или почти мёртвого: борозды на запястьях есть, а вялой синевы нет.

Белова перестала писать.

— Зачем связывать мёртвого?

— Спросите того, кто связывал. — Зильберман стянул перчатки. — Я бы подумал: чтобы не всплыл. Руки за спиной, шкиперский узел, под лёд, в прорубь, где сильное течение. Ему бы хватило нескольких часов, пока прорубь не затянет. А затянуло бы, то потом уже не нашли бы. Но мы на-

шли, потому что котельной понадобилась вода.

Он вымыл руки в тазу, снял фартук и сказал:

— Я вчера сказал: это не наш случай. Вы мне не поверили.

— Верю.

— Вы не верите. Но это нормально. — Он вытер руки полотенцем. — Тот ничего не берёт, кроме бумаг. Паспорт, справка, всё, что говорит, кто она. А этот взял часы. Пока связывал. Это другой человек, и по другой причине.

— Паспорта нет и у этого.

Зильберман повернулся и посмотрел на него, усталый, с красными веками.

— Я вам совет дам, как человек, который двадцать лет вскрывает чужие жизни. Не складывайте всё в одну кучу. Это очень удобно, и очень вредно.

Белова закрыла папку.

— Он не вырывался, — сказала она. — Вы говорили, борозды есть, но он не вырывался. Значит, его ударили сзади и он упал, не успев понять.

— Да.

— Значит, он доверял тому, кто был за спиной.

Зильберман задержал на ней взгляд на секунду дольше, чем обычно задерживают на коллеге.

— У вас хороший ум, Елена Романовна. — Он снял очки, потёр переносицу. — Это опасно для женщины в милиции. Берегите его.

* * *

Матрёна Ефимовна Костылёва жила в Затонной слободке, в бараке из горбыля, обшитого рубероидом, где в коридоре стояли бочки с квашеной капустой и висели детские валенки на гвозде. Волченко пришёл к ней на следующий день, восьмого, в сумерках, с Беловой, и им открыла женщина лет сорока, широкая, тяжёлая в плечах, с красными руками, в тёмном платке, завязанном под подбородком.

— Знаю, — сказала она. — Из затона уже сказали. Проходите.

В комнате было жарко и тесно. Три кровати, стол, икона в углу без лампадки, швейная машинка «Зингер» под вышитой салфеткой. На табуретке сидел мальчик лет двенадцати и читал, не поднимая головы, и по тому, как он держал страницу, было ясно, что слушает каждое слово.

— Паша, на двор.

Мальчик встал, взял шапку и вышел.

Она не плакала. Села на кровать, сложила руки на коленях.

— Я не плакала, когда сказали, — произнесла она. — Двадцать лет он то в рейсах, то у баб, то по кабакам. Я плакать разучилась. А когда подо льдом нашли, подумала: надо заплакать, так положено. А не получается. — Она подняла глаза. — Как вам кажется, это грех?

— Нет, — сказал Волченко.

Белова вытащила бумагу.

— Матрёна Ефимовна, в декабре вы подавали заявление о пропаже мужа. В милицию. Нам нужно знать всё, что он говорил за последние месяцы.

— Подавала. Двадцать третьего. Мне сказали: ждите. — Матрёна Ефимовна встала, подошла к швейной машинке, подняла салфетку и достала из-под неё клеёнчатую папку, перетянутую бечёвкой. — Я про это никому не говорила. Мне он сказал: убери, никому не показывай. А теперь, раз он… Берите.

Она развязала бечёвку и положила папку на стол.

Внутри были два листка и тетрадь.

Первый листок, исписанный фиолетовыми чернилами, с чёткими, раздельными, как у привыкшего писать по накладным, буквами, назывался «Заявление», адресовался «Начальнику транспортного отдела Управления НКВД по Хабаровскому краю тов. Ярыгину Л. А.», и датирован четырнадцатым ноября тридцать восьмого. Костылёв Игнат Платонович, шкипер буксира «Ударник», сообщал, что в течение навигации тридцать восьмого года на баржах № 12, 17 и 24 Амурского пароходства неоднократно наблюдал расхождение между грузом, указанным в накладных, и фактической осадкой судов. По его расчётам, баржи на ходу несли на двадцать — тридцать тонн больше. «Считаю, что в корпусах оборудованы тайники». Он просил проверить доки, указав,

где и когда стояли баржи под погрузкой, и фамилии грузчиков.

Волченко прочитал, не меняясь в лице, и передал Беловой.

— Тайники, — сказала она.

— Двойное дно. — Он взял второй листок.

Это был ответ. Маленький бланк с угловым штампом, машинописью, фиолетовой датой: двадцать шестое ноября. «Гр. Костылёву И. П. Ваше заявление, поступившее в транспортный отдел УНКВД, направлено по принадлежности для рассмотрения и принятия мер начальнику Хабаровского порта т. Шестакову Г. Л. О результатах будете извещены».

Подпись была неразборчивой, закорючка с хвостом.

— Он это получил в начале декабря, — сказала Матрёна Ефимовна. — Пришёл с работы весь серый. Сел, молчит. Я говорю: что? Он говорит: «Отправили тем, на кого я писал». Я не поняла. Он говорит: «Матрёна, я дурак». И пошёл в сени курить.

Белова медленно, почти беззвучно, положила листок на стол.

— Они отправили жалобу на начальника порта самому начальнику порта, — сказала она Волченко.

— На рассмотрение, — сказал он. — Так принято. Всё по форме.

— Я не про форму.

— Понимаю.

Матрёна Ефимовна смотрела на них обоих, и лицо у неё менялось: из усталого становилось жёстким: ей наконец объяснили то, что она давно понимала.

— Значит, его убил Шестаков, — сказала она.

— Мы не знаем.

— Знаю. — Она встала, одёрнула передник. — Он перед смертью деньги принёс. Много. Триста рублей. Сказал: скоро всё наладится, ты, Матрёна, не бойся. Я спросила: откуда? Он говорит: от бумаги. Я решила, что премия. Только какая премия у шкипера в декабре, в зимовке.

— Триста рублей, — повторила Белова.

— И через неделю пропал. — Матрёна Ефимовна взяла со стола тетрадь и протянула Волченко. — И ещё это. Он по ночам писал. Цифры какие-то.

Тетрадь была школьная, в косую линейку, с обложкой, исчерченной чертежными значками. Внутри столбцы: «Баржа №», «груз по накладной», «осадка по таблице», «осадка фактическая», «разница». Строки шли с мая по ноябрь, мелким бисерным почерком, без помарок. На последней странице внизу, отдельно, одна запись, подчёркнутая дважды: «Сверить с 7.11 Нижн. наб., разгрузка у склада. Спросить Б.».

— Кто Б.? — спросил Волченко.

— Не знаю. Бочкарёв, Баранов, Борисов: у нас на воде каждый второй на «Б».

Он закрыл тетрадь и кивнул на икону в углу.

— Вы разрешаете взять это?

— Берите. — Она посмотрела на него очень прямо. — Только пообещайте мне. Если это Шестаков, чтобы я об этом услышала от вас, а не от соседок.

— Обещаю.

Он сказал это раньше, чем успел подумать, и только на лестнице, когда они с Беловой спускались в темноту, он вспомнил, что в этом времени ничего не обещают.

* * *

— Закрывай, — сказал Гусев.

Он сказал это в четверг, девятого, утром, склонившись над бумагой, и Волченко сначала решил, что не расслышал.

— Что закрывать?

— Затон. Костылёва. — Гусев поднял на него красное, тяжёлое лицо. — Утонул пьяный. Упал в майну у котельной, когда ходил по льду. Нашли через два месяца. Акт, справка, захоронение. Я Матрёне Ефимовне напишу сам, чтоб ей было что в Собес.

— Он не тонул. У него сухие лёгкие.

— Это ты так думаешь.

— Это Зильберман так пишет в акте.

— Зильберман — врач-инспектор, а не судебный эксперт. — Гусев положил карандаш. — Миша, ты мне объясни: он связанный. Хорошо, связанный. А кто сказал, что связал его

не сам, по пьяни, в азарте, на спор? Не бывает? Бывает. Узел шкиперский: у шкиперов на уме узлы, как у баб на уме суп.

— Руки за спиной. Через час после удара по голове.

— Через час, через два. Врач сказал «вероятно». — Гусев стукнул ладонью по столу, но не сильно. — Я не говорю, что ты не прав. Я говорю, что у тебя двадцать нераскрытых висит на отделе, а по циркуляру до первого марта я должен показать, где мы ошибались, и ни в одном месте не должно быть слова «нераскрыто». Ты понимаешь, что значит «затон»? Затон — это порт. Порт — это транспортный отдел НКВД. Транспортный отдел — это Ярыгин. А Ярыгин мне сосед по лестнице.

Он выдохнул это одним духом и тут же отвернулся к окну, будто сказал что-то неприличное.

— Леонид Аркадьевич в заявлении Костылёва назван адресатом, — сказал Волченко.

— Какое ещё заявление?

— Которое у вдовы. И ответ, подписанный кем-то в отделе Ярыгина: «направлено начальнику порта на рассмотрение».

Гусев повернулся. Красные пятна проступили на шее, поползли к щекам.

— Ты ходил к вдове? Без меня? — Он провёл ладонью по лицу, мокро, сверху вниз. — Покажи.

Волченко положил на стол оба листка. Гусев читал медленно, шевеля губами, как читают незнакомые слова, потом отодвинул бумаги двумя пальцами, как отодвигают горячее.

— Это нельзя было приносить сюда, — сказал он глухо.

— Другого места нет.

— Есть. Можно было принести Лукину, и пусть он решает. Он прокурор, ему не страшно.

— Лукин решает, но работать должен я.

— Миша. — Гусев вздохнул. — Я тебя не ругаю. Я тебя прошу. Не лезь в порт. У меня язва, жена в больнице, дочь в институте и в тридцать шестом году я уже один раз не повернулся в нужную сторону. Мне пятьдесят. Я хочу дожить до пенсии.

— А Костылёв?

— А Костылёв мёртв. — Гусев произнёс это очень отчётливо. — Это не мы его убили. И не ты. Но живыми мы себя можем оставить.

Он побарабанил пальцами по столу. За стеной у Зины кто-то перевёртывал страницы справочника.

— Две недели, — сказал Гусев наконец. — Только две. Работаешь без шума. С Беловой, не со всеми. Порт не трогаешь, ни Шестакова, ни Вершинина, ни кого-нибудь из пароходства, пока не будет бумаги, которую Лукин может положить на стол. Пока бумаги нет — смотришь на воду. Через две недели мне нужен рапорт. Либо «убийство, установлено лицо», либо «несчастный случай». Выбирай сам.

— А если не будет ни того, ни другого?

— Тогда будет «несчастный случай». — Гусев взял карандаш. — Иди.

* * *

Таблица пришла в среду, пятнадцатого, перепечатанная на двух листах, с фиолетовой печатью краевого здравотдела. Зильберман прислал её с курьером, без записки.

Белова разложила листы на столе у окна и придавила чернильницей.

— Читать вслух?

— Читайте.

Она читала без выражения, как читают протокол, и Волченко стоял за её плечом, глядя на строки, которых не нужно было видеть, чтобы знать наизусть.

— «Сопоставительная таблица по женщинам, пропавшим и найденным с 1934 по 1938 год. Составлена по запросу ст. лейтенанта Волченко М. А. на основании актов, заключений и розыскных дел. Примечание: по случаям 1–3 тела не найдены, строки заполнены по розыскным делам».

Первые три строки: Лисицына, 1934; Савельева, 1935; Гордеева, 1936. В графах «причина смерти» и «рана» у каждой стояло одно слово: «нет».

— Дальше, — сказал Волченко.

— Мартынова Анна Васильевна, найдена в октябре тридцать седьмого. Асфиксия от сдавления шеи руками. Резаная рана левого предплечья, три сантиметра, прижизненная. Соколова Зоя Петровна, апрель тридцать восьмого. Ас-

фиксия. Резаная рана левого предплечья, три и одна десятая сантиметра, прижизненная. Ярцева Лидия Степановна, июнь тридцать восьмого, по описанию вяземского участкового врача: причина смерти не установлена; на левом предплечье резаная рана, около трёх сантиметров. Гурьева Ольга Тимофеевна, ноябрь тридцать восьмого. Асфиксия от сдавления шеи руками. Резаная рана левого запястья, три сантиметра, прижизненная. Содержимое желудка: небольшое количество пищевой массы, белый хлеб, масло, сладкий чай; смерть наступила через шесть — десять часов после приёма пищи, предположительно в ночь на шестнадцатое октября; давность к моменту осмотра три — четыре недели, температура окружающей среды низкая. Следов иных повреждений нет.

Она дочитала и подняла голову.

— Три сантиметра, — сказал Волченко.

— Что?

— Рана. Три, три и одна десятая, около трёх, три. Один нож. Одна рука.

— Он пишет внизу. — Белова провела пальцем по строке. — «Выводов настоящая таблица не содержит. Совпадение размера и локализации раны допускает как общее орудие, так и общую методику; не исключает также совпадения в силу анатомических особенностей места нанесения». Это то, что он называет «не складывайте всё в одну кучу».

— Он напуган, — сказала Белова.

— Это одно и то же.

Он перечитал листы: колонки, цифры, названия органов, ничего нового. Но в сумме с лапником, с ладонями вверх, с вещами у головы они давали очертание, как тень на стене, когда самого предмета не видно.

— Добавьте графу, — сказал он, задумавшись. — Группа крови. Если мы найдём когда-нибудь нож или ткань с пятнами, надо будет сравнить: по группе и по резусу.

— По чему? — спросила Белова.

Он понял, что сказал, на втором слове. Слово вышло изо рта само, тёплое, привычное, как «паспорт». Резус. В его мире оно было таким же обычным, как «рубль»: его знал любой ординатор. Здесь его не существовало: обезьяны, на которых его нашли, ещё сидели в клетках в Нью-Йорке, и до открытия оставался год.

— Резус, — повторил он. — Это фактор крови. Я читал. Иностранный журнал, опыты на обезьянах. Не важно.

— Какой журнал?

— Не помню.

— Вы не помните, какой журнал, но помните, что про обезьян.

— Елена Романовна…

— Я ничего не говорю. — Она взяла карандаш, вырвала из блокнота чистый листок, написала на нём одно слово крупно, печатными буквами, и подчеркнула. — Это для меня. Я собираю. У вас странная память, Михаил Андреевич:

помнит то, чего нет в справочниках.

Он не ответил. Она сложила листок и спрятала в карман кителя.

Потом позвонили из дежурки: у входа ждёт посыльный из порта. Начальник Хабаровского порта товарищ Шестаков просит товарища старшего лейтенанта зайти на пристань в удобное для него время, по вопросу о Костылёве.

Волченко посмотрел на Белову.

— Они уже знают, — сказала она.

— Они знают всё, что нам нужно, — ответил он. — А мы пока ничего.

Глава 4

Порт зимой был городом без людей.

Волченко шёл к нему от автобусного круга по дороге вдоль рельсов, которые тянулись на пристань и обрывались у самого льда, словно строители в последний момент передумали. По обе стороны лежали штабеля ящиков под снежными шапками, перевёрнутые лодки, длинные пакгаузы с заколоченными дверями. На стреле крана, застывшего над причалом, сидела ворона и смотрела вниз с видом сторожа, у которого забрали ключи. По льду реки, к китайскому берегу, тянулась тропа, одна, кривая, как шов.

Управление порта занимало двухэтажный деревянный дом с мезонином, охра на стенах облупилась до серого, а над крыльцом висела вывеска с позолоченными буквами, которые кто-то совсем недавно подновил. Волченко поднялся по ступеням, постучал в дверь с табличкой «Начальник порта» и услышал в ответ густое, радушное:

— Войдите!

Шестаков Георгий Львович поднялся из-за стола ему навстречу и протянул обе руки сразу.

Он был крупный, пятидесяти одного года, с широким розовым лицом, на котором всё казалось слегка увеличенным, и золотая коронка, блеснувшая в улыбке, была размером с пуговицу. На стене за его спиной висела карта Амура с бу-

лавками, на подоконнике стоял тульский самовар с медалями, и пар от него смешивался с запахом пирога.

— Старший лейтенант, — произнёс Шестаков. — Наконец-то. Я думал, придётся вас через дежурного вылавливать. Садитесь, садитесь. Чаю? С жимолостью, жена варит. Нет-нет, не отказывайтесь, на этом морозе человек без чая как баржа без якоря.

Волченко сел. Чай появился в стакане с подстаканником раньше, чем он успел решить, пить или нет. Рядом с самоваром, на втором стуле, уже сидел человек, которого начальник порта представил небрежным движением руки.

— Вершинин Николай Николаевич, главный бухгалтер пароходства. Я его позвал на всякий случай: по Костылёву пойдут бумаги, а без бухгалтера у нас ни одна бумага не гуляет.

Вершинин кивнул. Лет тридцати восьми, сухой, бледный, в круглых очках без оправы, с длинными пальцами, которые лежали на папке аккуратно, один к одному, как костяшки. Он не улыбался. Когда на него смотрели, он слегка опускал веки.

— Игнат Платонович был одним из лучших шкиперов, — продолжал Шестаков. — Двадцать лет на Амуре. Пил, конечно. Вода такая: либо пьёшь, либо тонешь. — Он вздохнул, и коронка на секунду исчезла. — Я вдове послал двести рублей из директорского фонда, по-человечески. Скажите, что с ним произошло. Слухи у нас ужасные.

— Его нашли в затоне, подо льдом.

— Говорят, связанным?

— Руки были связаны.

— Боже мой. — Шестаков поставил стакан. — Кто мог? Какой изверг?

— Георгий Львович, — сказал Волченко, — Костылёв писал заявление. В ноябре.

— Писал.

Вершинин чуть шевельнулся.

— Вы его видели?

— Конечно. Оно ко мне и пришло, из НКВД, на рассмотрение. — Шестаков развёл ладонями, широко, открыто. — Всё по правилам. Заявление серьёзное: тайники в баржах! Я, понимаете, сам три дня не спал. Поднял людей. Мы с Николаем Николаевичем проверили лично. Николай Николаевич, дайте акт.

Вершинин открыл папку и достал лист.

Акт был составлен третьего декабря. Три подписи: Шестаков, Вершинин и начальник дока. Баржи № 12, 17 и 24 осмотрены на плаву и в сухом доке; тайников, двойных днищ и посторонних полостей не обнаружено; расхождения между грузом по накладным и осадкой объяснялись влажностью угля и леса, пропитавшихся водой на открытых причалах. Вывод: «факты, изложенные в заявлении, не подтвердились».

Волченко прочитал. Дата стояла чётко, чернила чёрные, подписи размашистые.

— Влажность, — сказал он.

— Лес, — подтвердил Шестаков. — Вы не представляете, сколько воды в сыром лесу. Тонна сухого, полторы мокрого. Для шкипера это тайна, для бухгалтера простая арифметика.

— Пятьдесят процентов?

— До пятидесяти, и больше.

— Понятно. — Волченко положил акт на стол. Он сказал это как лейтенант, которому объяснили то, чего он не знал. — А Костылёв? Он об этом знал?

— Я его вызвал, — сказал Шестаков. — Четвёртого. Показал акт. Поговорили по-человечески. Я ему объяснил: Игнат Платонович, ты дотошный человек, это хорошо, но дотошность должна иметь границы. Пойми, не обижайся. Он, бедняга, расстроился. Но понял.

— Что он сказал?

— Сказал: «Может, и вправду мокрый». — Начальник порта вздохнул. — Мягкий был человек. Просто упрямый.

Самовар булькнул, выпуская пар. Вершинин, глядя в стол, подвинул папку на сантиметр вправо.

Волченко отпил чай, горячий, сладкий, с кисловатым привкусом ягоды. За полтора года в этом веке он не встречал человека, который так хорошо объяснял бы всё сразу. Шестаков не защищался: он угощал. Заявление получено, проверено, акт составлен, Костылёв вызван, расстроен, понял. Каждая фраза в отдельности была правдой. Вместе они походили на ящик с двойным дном: сверху чисто, внутри ни-

чего не видно.

— Одиннадцатого он сошёл на лёд ночью. Сказал вахтенному: «по бумагам». К кому он шёл, Георгий Львович? Какие бумаги?

На секунду розовое лицо перед ним замерло, и это длилось столько, сколько нужно, чтобы заметить.

— Не знаю, — сказал Шестаков. — Правда, не знаю. Может, и к бабе. У шкиперов на зимовке своя жизнь.

— Спасибо.

— Это вам спасибо. Я вам скажу, как человеку, который начинает: в нашем деле главное — не торопиться. Порт, он как река, течёт сам. Мы его не меняем, мы его обслуживаем. — Шестаков встал и снова протянул обе руки. — Приходите. Хоть каждый день. Нам скрывать нечего. А если надо документы, Николай Николаевич всё даст. Николай Николаевич?

— Конечно, — сказал Вершинин. Это были первые слова, которые он произнёс.

Голос у него был сухой и совершенно пустой.

На лестнице Волченко остановился, чтобы достать перчатки, и услышал, как за дверью Вершинин сказал что-то вполголоса, цифрами: «Двенадцатая, семнадцатая, двадцать четвёртая». Потом скрипнуло кресло.

Он вышел на крыльцо. Ворона на кране не шевельнулась.

* * *

Лукин принял его двадцать первого, во вторник, после обеда, и читал бумаги с карандашом в руке, как читает врач рентгеновский снимок.

На столе перед ним лежали: акт вскрытия с подписью Зильбермана, срезанная верёвка с узлом в бумажном конверте, заявление Костылёва с ответом, показания Мамонтова и вахтенного, вахтенный журнал «Ударника».

— Сухие лёгкие, — сказал Лукин. — Заявление, направленное тому, на кого оно подано. Ответ двадцать шестого ноября, а одиннадцатого декабря он сошёл на лёд. — Он поднял глаза. — Что вы хотите, чтобы я сделал, Волченко?

— Возбудить дело.

— По какой статье?

— По сто тридцать шестой. Убийство.

— Против кого?

— Неустановленных лиц.

— Хорошо. — Лукин положил карандаш параллельно краю стола. — Тогда скажу, как это будет. Я возбуждаю дело сегодня. В постановлении будет написано: «по факту обнаружения трупа гр. Костылёва И. П. с признаками насильственной смерти». Ни порта, ни транспортного отдела, ни Шестакова. Только факт. Это даёт вам два преимущества. Первое: Гусев больше не может закрыть без моей санкции. Второе:

никто не может сказать, что вы обвинили начальника порта без оснований, потому что вы не обвиняли.

— А недостатки?

— Вы вынуждены работать без огласки. — Лукин подписал бумагу, подул, хотя чернила были сухие. — И ещё один. Шестаков мне знаком. Он ходит по краевым кабинетам с пирогом. Если вы напугаете его раньше, чем он совершит ошибку, он поднимется на ступеньку, где мы его уже не достанем. Вы ходили к нему?

— Он пригласил.

— Вот именно. Он посмотрел на вас, оценил, и теперь знает, чего вы стоите. А вы не знаете ничего, кроме того, что он вежлив. Идите. Гусеву не говорите, что были у меня: он узнает сам. — Лукин сухо улыбнулся. — Люди, которые боятся, узнают всё быстрее остальных.

Гусев узнал через час.

Он ждал в коридоре, у двери кабинета, в расстёгнутом кителе, красный, с бумагой в руке, и даже не позвал внутрь. Он говорил быстро, сквозь зубы, в упор, и каждое слово падало на пол, как булыжник: ты меня подставил, ты у Лукина, ты обошёл, мне в понедельник наверх, мне что говорить; ты у Шестакова был, мне уже позвонили, ты что, не слышал, что я сказал. Волченко стоял и слушал, не пытаясь отвечать. Когда Гусев выдохся, он сказал одно:

— Дело возбуждено. Закрыть нельзя.

— Знаю, что нельзя! — Гусев ударил ладонью по стене, не

сильно, и за дверью кто-то испуганно кашлянул. — Теперь я каждый день на ковре буду стоять.

— Фёдор Степанович.

— Молчи. — Гусев сунул бумагу в карман. — Белову на дело. Формально. Она там и так. Работайте так, чтобы я ничего не слышал. Ничего. Ты понял? Если мне позвонят и скажут: «ваш Волченко», — я сам тебя уберу. Даже не из жалости. Из страха.

Он повернулся и ушёл. В коридоре остался запах табака и мокрой шерсти.

* * *

Белова вышла на работу посудомойкой двадцать третьего.

Идея принадлежала ей. Накануне, когда Волченко рассказал о Шестакове, она долго думала, потом спросила, есть ли у порта буфет. Есть, один, при управлении, для служащих и грузчиков, и работают в нём трое: заведующая, буфетчица и посудомойка. Посудомойка как раз собиралась уходить на место получше: Белова узнала это из объявления у проходной.

— Я пойду как женщина без места, с улицы, — сказала она. — Два дня. За два дня безработный может узнать об остальных больше, чем милиция за месяц.

— Это опасно.

— Не больше, чем работа в вашем отделе.

Она пришла в телогрейке, в простом платке и в стоптанных ботинках, которые, как догадался Волченко, она взяла у матери. Без фуражки лицо казалось другим: мягче, старше, и в нём появилась та самая усталая покорность, какой не бывает у людей в форме.

В пятницу, двадцать четвёртого, в обеденное время он пришёл в буфет как посетитель.

Зал был длинный, низкий, на двадцать столов, и пахло в нём щами, мокрыми валенками и дешёвым табаком. За стойкой, под плакатом «Пей чай, а не водку», стояла женщина лет двадцати девяти в белом переднике, широкоплечая, русоволосая, с красными, потрескавшимися от воды руками. На груди у неё был приколот листок: «Лыкова Н. С., буфетчица». Лицо было приятное, круглое, но с какой-то глухой привычкой: она смотрела не на человека, а на то место, где он сейчас окажется, и губы у неё были сжаты, словно она давно решила не говорить лишнего.

Он взял щи, хлеб, стакан чая и сел в углу, спиной к стене.

Белова появилась из кухни с подносом грязных мисок, согнувшись и глядя в миски. Мимо его стола она прошла, не замедлив шаг, но на ходу поставила на край стола пустую соль и, одними губами, сказала: «Сзади, у окна, в бушлате».

Он не обернулся. Достал ложку. Потом, потянувшись за хлебом, повернул голову.

У окна ел человек лет тридцати шести: широкоплечий, с обмороженной щекой, в чёрном бушлате с нашивками стар-

шины, сидел спиной к залу, ссутулившись над миской, и ел медленно, не поднимая головы, как едят люди, не привыкшие, что на них смотрят.

Лыкова подошла к его столу с чайником, налила, и Волченко увидел, как дрогнули её руки: чай плеснул мимо стакана, на клеёнку. Человек не поднял головы.

— Прости, Савва Степаныч, — сказала она.

— Ничего.

Это были единственные слова. Она ушла к стойке и стала протирать её тряпкой, медленно, хотя стойка была чистая.

«Пантюхин, — сказала потом Белова. — Старшина катера. Я узнала у заведующей».

В четверть второго дверь отворилась, впустив волну холода, и в буфет вошёл невысокий человек в кожаной тужурке, в шапке-ушанке без звезды, с портфелем под мышкой. Лицо у него было неприметное, чисто выбритое, спокойное. Такие лица, подумал Волченко, делают для того, чтобы их не запоминали.

Человек не пошёл к столам. Он направился прямо к стойке, и Лыкова, увидев его, выпрямилась, как под лучом прожектора.

Они говорили недолго. Он что-то спросил, наклонившись, она ответила одним словом. Он достал из портфеля сложенный листок, показал ей, не отдавая. Она посмотрела. Потом он убрал листок обратно и, уходя, проронил вполголоса, но так, что услышали в двух шагах от него:

— В субботу.

Дверь хлопнула.

Белова, проходившая мимо с подносом, не задержалась.

Они встретились на автобусной остановке в шесть, когда стемнело, и она рассказывала на ходу, коротко, сгорбившись и глядя под ноги, как идут люди, которые не хотят, чтобы к ним подошли.

— Лыкова Нина Сергеевна, двадцать девять лет, из Благовещенска. Приехала в тридцать шестом, нанялась в буфет. Прописки нет, ни временной, ни постоянной: трижды отказали. Живёт у знакомой на Тополиной, угол, платит десять рублей. — Она вытерла нос рукавом. — Игната Платоновича знала. Он ей одалживал денег, когда она болела. Она его вспоминает со слезами.

— А человек в тужурке?

— Бочкарёв. — Белова остановилась. — Это заведующая шепнула. Приходит третий раз за неделю. «От начальства», говорит. Лыкова называет его «этот товарищ». Он предложил ей бумагу.

— Какую?

— Справку. Что она проживает в общежитии порта, с печатью. Для неё это почти прописка. Он сказал: сначала справку, потом, если всё будет хорошо, и прописку. Она спросила: «А что нужно?» Он сказал: «Ничего. Только помнить, что надо помнить, и не говорить, что не надо».

Подошёл автобус. Они сели в хвост салона, на холодную

деревянную скамью, и Белова, не поворачивая головы, продолжила:

— Одиннадцатого декабря она задержалась в буфете. Протирала столы. В десять вечера пришёл Костылёв и попросил горячего. Он был возбуждённый, она говорит: «лицо красное, а руки холодные». Она налила щей. К нему подсел человек. Они пошли вместе, на лёд. Там стояли сани.

— Кто?

— Она отказалась называть. Сказала: «Я его в лицо не знаю». Но руки у неё при этом тряслись так, что тарелки звенели. — Белова повернулась к нему. — Она знает его, Михаил Андреевич. Просто боится больше, чем доверяет.

— Это Пантюхин?

— Я не сказала этого.

Волченко смотрел на своё отражение в тёмном стекле. Лицо в нём было молодое и напряжённое.

— В субботу, — сказал он.

— Да. Бочкарёв принесёт справку. И она возьмёт.

— Конечно, возьмёт. У неё нет выбора.

— Нет, — согласилась Белова. — Именно поэтому они и выбрали её.

* * *

К Кравцовой он пришёл в понедельник, двадцать седьмого, в восемь вечера, когда консультация закрывалась, и на

лестнице уже не было очереди.

Очередь, которая в июне ещё не умела говорить, а в ноябре заговорила, теперь расходилась: на подоконнике, где летом ждали женщины с узелками, лежали забытая варежка и газета. Что-то менялось, не быстро и не для всех.

Кравцова принимала в последней комнате. Она сидела за столом в той же шубе с облезлым воротником, которую не снимала даже летом, и писала. Фотография отца стояла на подоконнике лицом к ней, и в свете лампы Волченко впервые разглядел: у профессора были те же губы.

— Вы пришли, — сказала она, не отрываясь от бумаги. — Я думала, вы придёте после дела. Вы всегда приходите после.

— Я пришёл до.

— Это что-то новое. — Она отложила перо, подняла глаза. — Запишу в календарь. Садитесь.

Он сел и рассказал коротко, без фамилий: свидетельница, женщина без прописки, видела, как убитого увели на лёд, боится, на неё давят. Охраны для свидетелей нет. Кравцова слушала, облокотившись, и думала, судя по лицу, не о нём, а о женщине, которой не было.

— Охраны у вас нет, — сказала она, когда он закончил. — У вас есть повестка. Человека с повесткой в прокуратуру трогать труднее, чем человека без бумаги: убрать «свидетеля по делу в производстве» дороже, чем «женщину без прописки». Это разные цены, а они умеют считать.

— А если она откажется приходить?

— Тогда возьмите её понятой на три месяца: понятых можно селить при следственном органе. Статью не помню, найдите сами. Лукин любит такие трюки.

Волченко записал.

— Вы помогаете мне, — сказал он. — Это впервые.

— Это не помощь, а консультация. Я беру пять рублей. — Она слегка усмехнулась. — Забудьте. Я делаю это не для вас. Я делаю это для неё. Я слишком хорошо знаю, что значит жить в городе, где тебя не считают.

Она встала, подошла к окну, повернула фотографию на подоконнике чуть к свету.

— Хрупкое перемирие, — сказала она. — Вы понимаете, что я сказала? Я не сказала «мир».

— Понимаю.

— Тогда идите. Мне ещё писать.

Он вышел на лестницу. Внизу, у двери, дворник сгребал в сугроб лопатой мусор, и звук был мерный, скрипучий, как если бы кто-то далеко чистил лёд.

А на Тополиной в тот вечер, как он узнал позже, Лыкова Нина Сергеевна сидела за столом при свете керосиновой лампы и перечитывала бумагу, которую в субботу принёс ей человек в кожаной тужурке: справку на бланке порта, с печатью, о том, что гражданка Лыкова проживает в общежитии пристани. Прописки в ней не было. Был срок: до первого июня.

Глава 5

На перроне Сёмин стоял с чемоданом у ног и читал расписание, хотя расписание не менялось с тридцать седьмого года.

Волченко увидел его издалека, в первую секунду не узнав: серое пальто, не мятое, с чистым воротником, шапка, надетая прямо, лицо не багровое, а смуглое, потемневшее от ветра. Красные прожилки на щеках ушли. Остались морщины, глубокие, как отпечатки пальцев, и мешки под глазами, но глаза в мешках были ясные, цвета мокрого камня.

— Лейтенант, — сказал Сёмин, не поворачиваясь. — Старший. Я слышал.

— Пётр Ильич.

— Из Комсомольска в командировку. Обмен опытом. — Он оглядел Волченко, потом Белову, которая стояла в двух шагах с папкой и портфелем и делала вид, что читает объявление о санитарной обработке вагонов. — Куда?

— В Биробиджан.

— На сутки?

— На три.

— С напарницей. — Сёмин слегка кивнул Беловой, коротко, по-старому, всем корпусом. — Елена Романовна. Наслышан.

— Здравствуйте, Пётр Ильич.

— Двести шестьдесят пять дней, — сказал он вдруг, обращаясь не к ним, а к рельсам. — Считаю, как заключённый. Начальник отдела у нас там хороший человек, не знает, что у меня за плечами. Думает, я от природы такой. Скучный.

— Вы не скучный.

— Теперь скучный. — Он усмехнулся, не разжимая губ. — Знаешь, что самое страшное в трезвости? Всё слышно. Раньше был у меня город такой, ватный, а теперь каждая телега стучит.

Он поставил чемодан на перрон. Потом, не меняя голоса, добавил:

— Ты про порт в Хабаровске что-нибудь слышал?

— Слышал.

— Там тоже слышно. — Сёмин поднял чемодан. — Есть старуха, Мамка с Тополиной. Держит комнаты для речников: койка, щи, и язык за зубами не держит. Все, кто с воды, у неё были и будут. Ей шестьдесят пять, сидела при царе, чистая до нитки, но сплетница. Если что надо про Шестакова или кого из его людей, не ходи в порт. Иди туда, с селёдкой.

— Откуда вы знаете, что про Шестакова?

— Я двадцать лет ловил речных. Любой, кто говорит «порт», в этом городе имеет в виду Шестакова. — Он двинулся к вагону, обернулся. — Береги голову, лейтенант. Ты быстро растёшь. А я видел, как такие падают.

— Я помню про Гришу, — сказал Волченко.

Сёмин остановился. Плечи под серым пальто чуть опусти-

лись.

— Знаю, — ответил он. — Поэтому и говорю.

Гудок прокатился по путям длинно, на одной ноте, и Волченко слушал его, пока он не оборвался.

* * *

Вагон был жёсткий, в сорок мест, с печкой в торце, и в нём пахло углём, мокрой овчиной и копчёной рыбой. Они сели у окна, друг против друга, и поезд тронулся без рывка, словно сам не был уверен, что ехать стоит.

Хабаровск ушёл за стекло: пакгаузы, трубы, чёрный лёд на протоке, потом редкий лес, потом степь, белая до края. Позже начались сопки, одна за другой, пологие, покрытые перелеском, и между ними голубые тени ложились так точно, что казались проведёнными рейсфедером. На станциях поезд стоял по пять минут. Женщины с вёдрами и узелками выходили на платформу, переговаривались, продавали варёную картошку и мороженые яблоки, и пар от них поднимался такими же столбами, как от паровоза.

Белова читала бумаги.

Она разложила на коленях папку с делом Соколовой и, придерживая листы локтем, отмечала что-то карандашом на полях. Работала она всегда так, без единого звука, и Волченко, глядя на её склонённую голову, на тонкий пробор и выбившуюся прядь, думал, что за полгода так и не научился

угадывать, о чём она думает. Не потому, что она скрывала: мысли у неё шли по прямой, и дойдя до конца, она называла результат.

— У Соколовой исчезли паспорт, справка, кошелёк, платок, расчёска, ключ, — сказала она, перевернув лист. — У Ярцевой паспорт, справка, кошелёк. У Гурьевой документы и пропуск в больницу. Ценностей они не берут. Берут то, что говорит, кто ты.

— Да.

— Имена всё равно находились, через родных, через заявления. Значит, дело не в том, чтобы её потом не назвали. — Белова постучала карандашом по полям. — Дело в том, чтобы на время она осталась без имени. Пока он с ней.

Он ничего не ответил. В окне тянулся лес, чёрный, мокрый, с белыми пятнами на стволах. Колёса считали стыки.

Он считал стыки, не желая того. Раз, два, пауза. Раз, два, пауза. Там, где ритм сбивался и вагон встряхивало, на миг казалось, что стучание где-то внутри него самого тоже пропустило удар. Он ждал, когда оно вернётся, и оно вернулось, как возвращается человек, которого окликнули из соседней комнаты.

Он повернул голову к окну, чтобы не показывать лица.

— Вы пьёте чай? — спросил он минуту спустя. — Проводница идёт.

— Пью.

— Два.

Чай принесли в стаканах с жестяными подстаканниками, на которых были вычеканены серп и молот. Белова взяла свой обеими руками, согревая пальцы, и посмотрела на пар.

— У вас в волосах иней, — сказал Волченко. — От окна. Позвольте…

Он потянулся и тут же понял, что делает. Она не отшатнулась. Только чуть выпрямилась, и в этой неподвижности было достаточно, чтобы рука остановилась.

— Не надо, Михаил Андреевич, — сказала она. — Не сердитесь.

— Я не сержусь.

— Вы очень хороший. Вы лучший из тех, с кем мне приходилось работать. — Она отпила чай, и стакан в её пальцах не дрогнул. — Поэтому я не хочу, чтобы вы забыли, что мы работаем.

Он убрал руку без обиды и неожиданно почувствовал, что в этом коротком отказе было больше уважения, чем во многих согласиях, которые он знал.

— Забуду, — сказал он, — если вы забудете, что я пытался.

— Я не забуду, — ответила она. — Но не запишу.

И уголок её рта тронула улыбка, быстрая, почти незаметная, и сразу исчезла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.